

СТИВЕН

Ф

Р

У

А

И

18+

ТЕННИСНЫЕ
МЯЧИКИ
НЕБЕС

ph

Стивен Фрай
Теннисные мячики небес

Коллеге

Мы — теннисные мячики небес.

Они соединяют нас и лупят.

Как захотят.

Джон Уэбстер. «Герцогиня Мальфи», акт V, сцена 3

1

Заговор

13 се это началось давно, еще в прошлом веке, — веке, когда влюбленные писали друг дружке письма и посылали их, запечатывая в конверты. И временами, чтобы выразить свои чувства, они прибегали к разноцветным чернилам или опрыскивали почтовую бумагу духами.

Плау-лейн, 41
Хэмпстед
Лондон, С33

Понедельник 2 июня 1980

Милый Нед!

Прости мне этот запах. Надеюсь, ты вскрыешь письмо в каком-нибудь укромном месте, когда будешь совсем один. Чтобы никто к тебе не приставал и не отвлекал. Духи называются «*Rive Gauche*»^[1], так что я чувствую себя Симоной де Бовуар, а ты, надеюсь, почувствуешь себя Жаном Полем Сартром. Хотя нет, лучше не надо, потому что он, по-моему, ужасно с ней обходился. Я пишу это наверху, после ссоры с Питом и Хиллари. Ха-ха-ха! Пит и Хиллари, Пит и Хиллари, Пит и Хиллари. Тебе не нравится, когда я их так называю, ведь правда? Я так люблю тебя! Если бы ты увидел мой дневник, ты бы просто умер. Сегодня утром я исписала целых две страницы. Составила список всех твоих восхитительных, прекрасных качеств — когда-нибудь, когда мы будем вместе, я, возможно, позволю тебе заглянуть в него и ты умрешь еще раз.

Я записала, что ты старомоден.

Во-первых, при самой первой нашей встрече ты встал, когда я вошла в зал, — мило, конечно, но ведь дело было в «Хард-рок кафе»,

а я вышла из кухни, чтобы принять твой заказ.

Во-вторых, каждый раз, как я называю маму с папой Питером и Хиллари, ты краснеешь и поджимаешь губы.

В-третьих, когда ты в первый раз беседовал с Питом — ну ладно, будь по-твоему, — когда ты в первый раз разговаривал с мамой и папой, ты не мешал им разглагольствовать о частном образовании, частной медицине, о том, как все это ужасно и какое поганое у нас правительство, — и *ни разу не сказал ни слова*. Ну, то есть, о том, что твой папа тори и член парламента. Ты замечательно говорил о погоде и не очень понятно — о крикете. Но так и не проболтался.

Собственно, из-за этого мы сегодня и разругались. Твоего папу показывали в дневном выпуске «Уик-энд уорлд», ты, наверное, видел. (Да, кстати, я люблю тебя. Господи, как я тебя люблю.)

— Откуда они их выкапывают? — рявкнул Пит, тыча пальцем в экран. — Ну *откуда?*

— Выкапывают что? — холодно поинтересовалась я, приготовившись к ссоре.

— *Кого*, — поправила меня Хиллари.

— Вот этих пережитков в твидовых пиджаках, — сказал Пит. — Ты только посмотри на старого пердуна. Какое он имеет право говорить о шахтерах? Да если ему кусок угля свалится в тарелку с коричневым виндзорским супом^[2], он даже не поймет, что это такое.

— А помнишь молодого человека, который был у нас на прошлой неделе? — Сторонний наблюдатель наверняка заметил бы, что спросила я это с ледяным спокойствием.

— Гарантии занятости, а! — завопил Пит прямо в экран. — Когда это тебе приходилось беспокоиться насчет гарантий занятости, *ты*, мистер Итон, мистер Оксфорд и мистер Гвардеец?

Затем он повернулся ко мне:

— Что? Какой молодой человек? Когда?

Если ему задаешь вопрос, он *неизменно* проделывает этот фокус — сначала скажет что-нибудь ни к селу ни к городу, а *уж после* ответит тебе одним (или несколькими) собственными. Он меня с *ума*

сводит. (Как и ты, милый Нед. Только ты сводишь меня с ума, потому что я люблю тебя всей душой.) Если отца спросить: «Пит, в каком году была битва при Еастингсе?» — он ответит: «Опять они урезали пособие по безработице. В реальном исчислении — уже на пять процентов за последние два года. Пять процентов. Сволочи! Еастингс? А зачем тебе? С чего вдруг Еастингс? Битва при Еастингсе была не чем иным, как стычкой военщины с разбойниками-баронами. Единственная битва, о которой каждому следует знать, это битва между...» — и заведет свою обычную волынку. И ведь *знает*, что доводит меня до белого каления. Думаю, можбыть, и Хиллари — тоже. Как бы там ни было, я стояла на своем:

— Молодой человек, которого я к нам приводила. Его имя Нед. И ты отлично его помнишь. Мы познакомились в «Хард-рок» две недели назад.

— Слоан Рейнджер в крикетном джемпере, ты об этом, что ли?

— Никакой он *не* Слоан Рейнджер!

— А на мой взгляд, похож. Хиллс, как по-твоему, походил он на Слоана Рейнджера?

— Он определенно был очень вежлив, — сказала Хиллари.

— Вот именно. — И Пит повернулся к своему дурацкому телевизору, по которому как раз показывали твоего отца, выступающего перед йоркширскими шахтерами, что, должна признать, было действительно смешно. — Ты только взгляни! Старый фашист впервые в жизни оказался севернее Уотфорда^[3], голову дам на отсечение. Если не считать тех случаев, когда он приезжал в Шотландию, чтобы подстрелить куропатку. Невероятно. *Невероятно*.

— Бог с ним, с Уотфордом, *ты-то* когда в последний раз забирался северней Хэмпстеда?^[4] — спросила я. Вернее, крикнула. Что было, думаю, только справедливо, потому что он вывел меня из себя. И вообще, он бывает иногда *таким* ханжой.

Хиллари проиграла обычную пластинку «не-смей-так-разговаривать-с-отцом», после чего вернулась к своей статье. Она

теперь ведет новую колонку, «Лишнее ребро», и очень легко выходит из себя.

— Ты, видимо, забыла, что докторскую степень я получил в Шеффилдском университете^[5], — произнес Пит таким тоном, будто это обстоятельство позволяло претендовать на звание «Северянин десятилетия».

— Подумаешь! — фыркнула я. — Суть дела в том, что Нед приходится сыном как раз этому человеку.

И я торжествующе указала пальцем на экран. Увы, на экране в это время объявился ведущий.

Пит в благоговейном трепете повернулся ко мне.

— Этот юноша — сын Брайана Уолдена? — хрипло осведомился он. — Ты встречаешься с *сыном* Брайана Уолдена?

Оказывается, ведущий, Брайан Уолден, тоже состоит в парламенте, только от лейбористов. И в мозгу Пита мгновенно возникла картинка: я, а рядом со мной сын социалистического принца. Я просто видела, как Пит пытается быстренько просчитать шансы втереться в доверие к Брайану Уолдену (как тесть к свекру), заполучить на следующих выборах местечко в парламенте и триумфально прошествовать от унылой службы в Управлении народного образования Центрального Лондона к блеску и роскоши палаты общин и национальной славе. Питер Фендеман, смутьян-диссидент и герой рабочего класса, — я видела все эти фантазии в его алчных глазах. Отвратительно.

— Да не этого! — сказала я. — Вон *того*!

На экране опять появился твой отец, на этот раз он с бумагами под мышкой подходил к дверям Дома десять^[6].

Я люблю тебя, Нед. Люблю сильнее, чем приливы любят Луну. Сильнее, чем Микки любит Минни^[7] и Винни-Пух любит мед. Люблю твои большие темные глаза, твою милую круглую попку. Люблю твои спутанные волосы и красные-красные губы. Они правда такие красные, спорим, ты этого не знал. Красные губы, о которых столько пишут поэты, встречаются совсем у немногих. А твои —

наикраснейшие из красных, они краснее всех красных губ, о каких я когда-либо читала, и я хочу, чтобы они *прямо сейчас* блуждали по всему моему телу, — но все равно, как бы ни были твои губы красны, глаза велики, а попа кругла, все равно я люблю не их, а *тебя*. Когда я увидела тебя стоящим у шестнадцатого столика и улыбающимся мне, то подумала, что у тебя вообще нет тела. Я вышла из кухни в дурном настроении и увидела перед собой эту сияющую душу. Этого Неда. Этого тебя. Нагую душу, улыбающуюся мне, точно солнце, — и я поняла, что умру, если не смогу провести с тобой остаток моих дней.

И все же как мне хотелось сегодня, чтобы отец твой был лидером профсоюза, учителем средней школы, редактором «Морнинг стар»^[8], хоть самым Брайаном Уолденом — кем угодно, только бы не Чарльзом Маддстоуном, героем войны, гвардейским бригадиром в отставке, бывшим колониальным администратором. А сильнее всего мне хотелось, чтобы он был кем угодно, но не членом кабинета министров в правительстве консерваторов.

Но ведь это же неправильно, так? Тогда и ты был бы не ты, правда?

Когда до Пита и Хиллари *дошло*, они принялись перебегать глазами с меня на экран и обратно. Хиллари оглядела даже кресло, в котором ты сидел в тот день. Просто сверлила его взглядом, словно желала продезинфицировать, а после сжечь.

— Ах, Порция, — сказала она тоном, который принято называть «трагическим».

Пит, разумеется, сначала стал красным, как Ленин, но потом проглотил гнев заодно с разочарованием и начал Разговор. Торжественный. Он *понимает* мой подростковый бунт против всех тех принципов, в уважении к которым и в вере в которые меня воспитывали. Нет, более того, он этот бунт *уважает*.

— Знаешь ли ты, Порш, что я по-своему горжусь тобой? Горжусь твоим боевым задором. Ты восстаешь против власти, а разве не этому я тебя всегда и учил?

— *Что?* — завизжала я. (Нужно быть честной. Другого слова не подберешь. Это был визг, и ничто иное.)

Он развел руки в стороны и пожал плечами — с самодовольством, которое будет изводить меня до самого дня моей смерти.

— Хорошо. У тебя были свидания с олухом года, принадлежащим к высшему свету, тем самым ты привлекла к себе внимание папочки. Пит готов выслушать тебя. Давай поговорим, идет? Я хочу *сказать*...

Я спокойно встала, покинула комнату и поднялась к себе, чтобы все обдумать.

То есть... мне *следовало бы* так поступить, но куда там!

На самом деле я просто-напросто заорала:

— Иди ты на хрен, Пит! Ненавижу! Ты просто жалок! И знаешь, что еще? Ты *сноб*. Отвратительный, презренный сноб!

После чего я вылетела из комнаты, жахнула дверью и поскакала наверх, чтобы выплакаться. Владыка Бессмертных, говоря словами Эсхила, завершил свои игры с Порцией.

Уф! И еще раз уф.

Во всяком случае, теперь они знают. Ты уже сказал своим? Наверное, они тоже полезли на стену. Их возлюбленного сына заманила в свои сети дочь еврейского интеллектуала левых убеждений. Если только преподавателя истории, получающего полставки в Политехническом институте Северо-Восточного Лондона, можно назвать интеллектуалом, в чем я сильно сомневаюсь.

Но ведь любви без препятствий не бывает, правда? Я о том, что, если бы папа Джульетты бросился Ромео на шею и сказал: «Я не теряю дочь, я приобретаю сына», а мама Ромео разулыбалась от счастья: «Джульетта, душечка, добро пожаловать в семью Монтекки», пьеска получилась бы куцая.

Так или иначе, через пару часов после этой «мучительной сцены» Пит постучал в мою дверь с чашкой чая. Точность, Порция, точность. Не дверь была с чашкой чая, а Пит, — впрочем, ты меня понял. Я

решила, что меня ожидают новые напасти, однако на деле... Хотя нет, на деле так оно и вышло. Ему только что позвонили из Америки. У брата Пита, моего дяди Лео, случился в Нью-Йорке сердечный приступ, и, когда приехала «скорая», он был уже мертв. Как ужасно! Жена дяди Лео, Роза, умерла в январе от рака яичников, а теперь вот и он. Ему было сорок восемь. В сорок восемь лет умереть от сердечного приступа! Так что мой бедный двоюродный брат, Гордон, приезжает в Англию, чтобы пожить с нами. Это именно он вызвал «скорую» — ну и все такое. Представляешь, видеть, как прямо на твоих глазах умирает отец. А он к тому же и единственный их ребенок. Наверное, он сейчас в ужасном состоянии, бедняжка. Надеюсь, ему у нас понравится. Насколько я знаю, его воспитали в строгой вере, я и вообразить не могу, какое впечатление произведет на него наша семейная жизнь. Наши представления о кошерной пище ограничиваются булочкой с беконом. Я с Гордоном никогда не встречалась. И всегда воображала, что у него черная борода, — чушь, конечно, поскольку он примерно наших с тобой лет. Семнадцать-восемнадцать, что-то в этом роде.

Итоги дня таковы: мир в семействе Фендеманов нарушен, а у меня появится на следующей неделе брат, будет с кем поболтать. И я смогу разговаривать о тебе.

А это, о мой Недди, *куда больше того, чего я дождалась от тебя*. «Выиграл матч. По-моему, играл довольно прилично. Много читаю. Очень часто думаю о тебе». Цитирую самые интересные места.

Я знаю, ты занят экзаменами, но ведь и я тоже. Не огорчайся. *Любое* твое письмо приводит меня в трепет. Я смотрю на буквы, изучаю твой почерк, представляю, как рука твоя движется по бумаге, и этого довольно, чтобы я начала корчиться, будто истомленный любовью угорь. Я воображаю, как волосы, пока ты пишешь, спадают тебе на лоб, и это заставляет меня извиваться и пену пускать изо рта, подобно... подобно... ладно, об этом мы еще поговорим. Я думаю о твоих ногах под столом, и во мне начинают играть и искриться миллионы триллионов клеток. От того, как ты

перечеркиваешь «Ъ», у меня занимается дух. Я прижимаю конверт к губам, представляю, как ты лизнул его, и голова моя начинает кружиться. Я свихнувшаяся, спятившая, скучная, сопливая и слезливая барышня, и я люблю тебя без меры.

И я хочу, хочу, хочу, чтобы на следующий триместр ты не возвращался в свою школу. Брось ее и будь свободен, как все мы. Тебе же не обязательно поступать непременно в Оксфорд, правда? Я бы *ни за что* не стала поступать в университет, который требует, чтобы я торчала в нем весь зимний триместр после того, как все основные экзамены сданы, а все друзья разъехались, — торчала из-за какого-то дополнительного вступительного экзамена. Сколько можно надувать щеки? Почему не вести себя, как нормальный университет? Поедем лучше со мной в Бристоль. Время мы там проведем куда веселее.

Впрочем, что это я к тебе пристаю? Ты должен делать то, что хочешь делать.

Я люблю тебя, люблю, люблю, люблю.

Только что пришло в голову. А вдруг преподаватель истории искусств в ту субботу не повел бы ваш класс в Королевскую академию? Вдруг он взамен потащил бы вас в Тейт или в Национальную галерею? И ты не попал бы на Пиккадилли, не завернул бы позавтракать в «Хард-рок кафе», и я не стала бы самой везучей, самой счастливой, самой обезумевшей от любви девушкой на свете.

В мире столько... э-э... (Порция заглядывает в антологию Томаса Ёарди, которую она, предположительно, изучает.) В мире столько непредвиденного.

Ну вот.

Целую воздух вокруг себя.

Люблю и люблю и люблю и люблю и люблю.

Твоя Порция (поцелуй).

Только один, потому что не хватило бы и квинтильона.

7 июня 1980

Моя милая Порция!

Спасибо за чудесное письмо. После твоей (более чем справедливой) критики ужасного слога моих писем написание этого обещает стать делом более чем мудреным. Из тебя слова просто-напросто бьют, как струя из кайзера (так это, кажется, пишется?), а я для подобного рода штук недостаточно пылок. Да и почерк твой более чем совершенен (разумеется, как и все в тебе), мои же каракули более чем неразборчивы. Я думал о том, чтобы ответить на твое особое добавление (потрясающее, кстати сказать), опрыскав конверт одеколоном или лосьоном «после бритья», но у меня нет ни того ни другого. Льняное масло, которым я натираю мою крикетную клюшку, тебе, наверное, соблазнительным не покажется? Думаю, что нет.

Мне *так* жаль, что ты поссорилась с родителями. Быть может, тебе стоит объяснить Питеру (видишь, я смог это написать!), что я более чем беден? Мы никогда не проводим отпуск за границей, у отца только и хватило средств, чтобы послать меня сюда, и — хоть это, конечно, не произведет на человека левых или еще каких убеждений особого впечатления, — но у отца все время уходит на поездки в провинцию, к своим избирателям, да на попытки не дать развалиться нашему дому. Будь у меня братья или сестры, мне, может быть (кстати, где, *боже милостивый*, подцепила ты свое «можбыть»?), пришлось бы донашивать их одежду, как теперь я донашиваю *его*. Я единственный в школе ученик, который даже в те дни, когда нам разрешено не облачаться в форму, разгуливает в кавалерийской сарже и старых наездничьих жакетах. А то и в допотопном отцовском канотье, почти оранжевом от старости и с обтрепанными полями. Когда мама была еще жива, она, вот честное слово, вязала для меня носки, совсем как старая викторианская дама. Так что если отец у меня и фашист (хотя я, честно говоря, в этом не уверен), то фашист более чем бедный. Сообщаю также, что я рассказал ему о моем знакомстве с одной лондонской девушкой, и

он остался этим очень доволен. И даже не полез на стену, когда я поведал ему, что по субботам ты после школы подрабатываешь официанткой в ресторане с подачей гамбургеров. Он даже сказал, что ты, похоже, человек, не лишенный инициативы. Что до еврейства, оно его очень заинтересовало, отец спросил, не бежала ли твоя семья от Гитлера. Он имел какое-то отношение к суду над военными преступниками в Нюрнбурге (или «берге»?) и... нет, я вовсе не хочу сказать, что мой отец лучше твоего, на самом деле твои родители показались мне очень милыми, просто тебе нет нужды беспокоиться о том, что он тебя не одобрит или еще что. Он ждет не дождется знакомства с тобой, а я жду не дождусь возможности познакомить тебя с ним. Люди очень часто принимают отца за моего деда, потому что он старше большинства родителей — если ты понимаешь, что я хочу сказать. По-моему, он *очень хороший*, но я, конечно, более чем пристрастен. Как бы там ни было, у меня никого, кроме него, нет. Мама умерла родами. Я тебе не говорил? Прости. Я — первый ребенок, а ей уже было под пятьдесят.

Как ужасно то, что случилось с твоим американским дядей! Мне его очень жалко. Надеюсь, Гордон окажется приятным малым. Замечательно, что у тебя наконец появится брат. Все *мои* кузены — типы просто жуткие.

Просто жду не дождусь конца триместра. Слава богу, последний экзамен уже позади. Я так усердно готовился к нему, что у меня чуть ли не кровь носом шла, и все же, мне кажется, я мог бы сдать получше.

Скучные школьные новости — номер один: меня назначили главным старостой.

Трам-парарам!

У нас это называется «старшина школы». Всего на один триместр, но мне и без того хватает забот с подготовкой к Оксфорду, так что это серьезно. (Насчет поступления чуть ниже.) Как бы там ни было, когда доживаешь до моих лет, власть над другими людьми утрачивает всю свою привлекательность. И оборачивается тяжким

трудом плюс бесконечные совещания с директором школы и классными «мониторами» — староста класса называется у нас «монитором», только не спрашивай меня почему.

Номер два: в августе парусный клуб устраивает вояж к берегам Шотландии. Учитель, который его возглавляет, пригласил и меня. На две недели — те самые, на которые ты с родителями уедешь в Италию, то есть те самые, когда мы все равно будем далеко друг от друга. Все остальное лето я просижу в квартире отца на Виктории, и ты, надеюсь, станешь проводить со мной столько времени, сколько сможешь! Или ты собираешься снова устроиться на работу в «Хард-рок»?

Так вот. Оксфорд. Мне тоже несносна мысль, что придется вернуться туда в сентябре, когда ты еще будешь свободна как птица. Я без разговоров бросил бы все и поступил с тобой в Бристоль. Дело не в том, что меня так уж заклинило на Оксфорде, просто я знаю, что, если не буду учиться там, это разобьет сердце отца. Его прапрадед учился в Сент-Марке, а после него и каждый из Маддстоунов. Тут даже один из дворишков назван нашим именем. Ты можешь подумать, что из-за этого мне легче поступить, но на деле все наоборот. На деле я должен показать себя на вступительном экзамене лучше, чем практически кто бы то ни было, — доказать, что меня принимают в университет за собственные мои заслуги, а не за фамилию и семейные связи. Для отца это значит так много. Надеюсь, написанное мной не выглядит хронически патетичным. Я — единственный его сын и просто-напросто знаю, как он будет счастлив навещать меня здесь, обходить со мной колледжи, показывать места, в которых он любил бывать, и так далее.

Хорошо бы и ты ко мне приехала. Может, протащить тебя в следующем триместре в школу, выдав за новичка? Все, что от тебя потребуется, — это говорить пописклявее да иметь смазливый вид, а у тебя и то и другое получается так мило. Хотя нет, не мило, — разумеется, ты прекрасна. Самое прекрасное существо, какое я

когда-либо видел и когда-либо увижу. (И пишишь ты тоже замечательно.)

Я люблю твои письма. И до сих пор не могу поверить, что все это правда. Что же с нами происходит, на самом-то деле? У многих наших ребят тоже есть подружки, но я уверен — они к ним относятся совсем по-другому. Показывают направо-налево их письма, треплутся, доказывая, какие они молодцы. Должно быть, отсюда следует, что для них все это не более чем шутка. А у нас с тобой дело нешуточное, верно?

Ты писала о странной причуде Судьбы, отправившей компанию школьников в Королевскую академию, о том, что, если б не это, мы, скорее всего, не попали бы в «Хард-рок кафе». Мысль более чем *жуткая*. А с другой стороны, когда ты подошла к столу, за которым нас сидело, по-моему, семеро, почему ты взглянула на меня дважды? Не считая того обстоятельства, что я вскочил, будто слабоумный, на ноги. Очень неприятно тебя разочаровывать, но вскочил я вовсе не из вежливости. А потому, что увидел тебя. Своего рода инстинкт. Я могу показаться тебе сумасшедшим, но я словно бы знал тебя всю жизнь.

Больше того, когда я думаю об этом, я готов поклясться, что *знал* — сейчас ты выйдешь из той вращающейся двери. Весь день я чувствовал себя как-то странно. Чувствовал себя *другим* — ты понимаешь, о чем я? — а ко времени, когда мы добрались до ресторана, пропотев два часа в галерее и отшагав полмили по Пиккадилли, я просто *знал*: со мной вот-вот что-то произойдет. И когда ты пошла в нашу сторону (ты *очень смешно* похлопала себя по переднику и проверила, торчит ли за ухом карандаш, — я помню каждую подробность), меня просто подбросило на ноги. Я почти уж воскликнул: «Наконец-то!» — но тут ты посмотрела мне в глаза, мы улыбнулись друг другу — и все.

Но ведь ты, наверное, заметила и других наших ребят? Большинство из них, уж точно, выше меня и красивее. Тот же Эшли

Барсон-Гарленд — он в двадцать раз интереснее меня и в двадцать раз умнее.

Это напомнило мне... Я сделал сегодня утром, в биологическом кабинете, кое-что *более чем* ужасное. Это довольно трудно описать, и чувствую я себя из-за этого кошмарно. Тебе тут тревожиться не о чем, но получилось все странно. Я прочитал дневник Барсон-Гарленда. Вернее, часть дневника. Никогда ничего такого не делал, просто не понимаю, что на меня нашло. Я тебе все расскажу при встрече.

При встрече.

При встрече.

При встрече.

Просто НЕ МОГУ перестать думать о тебе. И от этого со мной случаются всякие неприличные вещи.

Еще до моего рождения отец служил в Судане комиссаром округа. Помню, он как-то рассказывал мне, что приезжавшие из Англии молодые люди ходили обычно в отглаженных шортах, а когда навстречу им попадались красивые нубийки, разгуливавшие обнаженными по пояс, а то и вовсе голышом, им приходилось поворачиваться лицом к стене или даже садиться на землю, чтобы скрыть, что они, как выразился отец, «несколько перевозбуждены в нижнем этаже». Так вот, мне достаточно просто представить тебя за чтением моего письма, достаточно просто подумать, что ты скоро увидишь эти слова, и я несколько перевозбуждаюсь в нижнем этаже. Да какое там «несколько»!

Так что теперь, когда я скажу, что думаю о тебе, и думаю *напряженно*, ты поймешь, о чем речь. Ну вот, даже сам покраснел. Я обожаю тебя до того, что мне остается только смеяться над самим собой.

С любовью, возведенной в степень, равную бесконечности плюс еще единица.

Целую,

Нед.

Нед так никогда и не понял, что толкнуло его на этот безобразный, ужасный поступок. Возможно, злой рок, возможно, дьявол, в существование которого он искренне верил.

Он вытянул книжицу из сумки Эшли Барсон-Гарленда, положил ее себе на колени и открыл на первой странице, не успев даже осознать, что делает. Правая его рука лежала на столе и все еще притворялась перелистывающей учебник по биологии.

Нед опустил глаза и приступил к чтению. Это был дневник. Да и чем еще мог он быть? На вид ему было года четыре, по меньшей мере. Нед думал потом, что именно возраст книжицы и привлек его внимание, когда он увидел, как та торчит из сумки. Эшли таскал ее с собою повсюду, и это заинтриговало Неда.

И все-таки очень странно, что он так поступил. Нед вообще-то не считал себя человеком, сующим нос в чужие дневники.

Читать было трудно. Не из-за почерка — мелкого, но ясного и энергичного; просто слог Барсон-Гарленда был — как бы это сказать? — *темноватым*. Да, вот правильное, умное слово. Слог был темноватым.

С каждой прочитанной Недом строкой дремотный шумок класса отступал все дальше и дальше, пока Нед не остался один на один со словами, чувствуя лишь, как на шее быстро и виновато пульсирует вена.

3 мая 1978

Дидзбури

Первым делом — *выговор*. Если им с толком распорядиться, он приблизит тебя к ним. Тут ты уже прошел половину пути. Но помни, не только выговор — вся манера речи. Следи за тем, как голос исходит изо рта, помни, что апертура рта ограничена, помни о расположении губ, об угле, под которым необходимо держать голову, о том, как ты киваешь, как склоняешь голову, как двигаешь

ладонями (ладонями, а не руками, они все же не итальянцы), о направлении взгляда.

Вспомни: всякий раз, когда ты слышал в автобусе, как они произносят твое имя, у тебя кровь прилиwała к щекам. На один мгновенный подпрыг сердца ты уверялся в том, что они, повторяя и повторяя твое имя, разговаривают о тебе. Искренне верил, что они непонятно откуда знают тебя. Считают своим, но только попавшим, вследствие какого-то трагического вывиха судьбы, не туда, куда следует. В самую первую поездку в автобусе, помнишь, они раз за разом повторяли твое имя? Может быть, ты с ними еще подружишься? Как ты тогда разволновался! Они увидели *это* в тебе. Это твое *свойство*. Они узнали его. Неуловимое качество, отличающее тебя от других.

Но потом до тебя дошло. Они разговаривали вовсе не о тебе. Они и понятия не имели, что ты существуешь. Их Эшли был совсем другим. Занятым Эшли...

«А что, Эшли, смешно».

«Эшли, ну просто умора».

Несмотря на первый укол разочарования, потрянувший тебя, словно удар тока, когда ты понял, что говорят они не о тебе, ты был — хотя бы отчасти — согрет гордостью, чувством причастности. День-другой ты даже ходил этак вразвалочку, верно? Может быть, твое имя, имя, которое ты так ненавидел, имя, которое тебя позорило, которое ты считал столь *мелкобуржуазным*, может быть, если *один из них* тоже носит его, может быть, оно, в конце концов, вполне нормально. А вдруг «Эшли», на самом-то деле, имя *крупнобуржуазное*, а то и — как знать? — *аристократическое*.

Но кто же из них Эшли? Нелепо, но один или два светозарных дня имя это звучало так часто, что ты начал подумывать: может быть, все они — Эшли? Потом тебе пришло в голову, что «Эшли», возможно, используется ими вместо слова «друг», что это *их* аналог уродливого «кореша», который каждый день режет тебе ухо на

твоей бетонной спортивной площадке, лежащей всего-то за несколько улиц от их каменного квадратного двора. А потом до тебя дошло еще раз.

Не было никакого Эшли. Эшли не существовало. Было лишь «*actually*^[9]».

А что, действительно смешно. Действительно, ну просто умора.

И ты действительно мог, Эшли, действительно мог всерьез поверить, будто они говорят о *тебе*? Ты вправду думал, что их ленивые взгляды действительно могут, Эшли, хотя бы скользнуть по тебе? Порой на пути их взглядов могло оказаться твое лицо, но неужто ты на самом деле поверил, будто отличительные черты твоего лица, да и само лицо, могли быть действительно *замечены* ими, Эшли?

И все же они замечали тебя. Еще как замечали. Ты смотрел на их кожу и волосы и дивился, как это возможно, чтобы они настолько отличались от *нашей* кожи и *наших* волос? От кожи и волос обычных людей. Что это — генетический дар? Ты отмечал ключевой значок румянца на их щеках, жарко-алого, куда более яркого, чем грязновато-кармазиновые кровоподтеки, пятнавшие щеки мальчишек *твоей* школы. Ты отмечал также — у некоторых — такую бледность и прозрачность кожи, что тебе оставалось только гадать: быть может, дело тут в их диете? Или диете их матерей в ту пору, когда они еще болтались у тех в животах.

Но, конечно, глубже всего въелся тебе в мозги Флаг. Флаг Благословенных. *Их* Флаг. Его веяние. Веющая бахрома. Бахрома, которая веяла. Флаг Веющей Бахромы. И то, как он тебя мучил. Какая огромная пустота разливалась в тебе, когда ты смотрел на Флаг. Как во французе, далеко-далеко от дома учуявшем запах «Голуаз». Как в затерявшемся в Азии англичанине, в чьи уши внезапно wpłyает музыкальное вступление к «Арчерам»^[10]. Потому что ты всегда, в сокровенной твоей глубине чувствовал, что *их* флаг был на самом-то деле — *твоим*. Был бы, если бы не ужасная ошибка. И пустота, что разливалась в тебе, боль, которую ты ощущал,

порождались вовсе не завистью или алчностью. В действительности, Эшли, они порождались *утратой*, порождались *изгнанием*. Ты был отлучен от своих — и все из-за Ужасной Ошибки.

Сколько времени проводил ты с ними в автобусе — минут пять? Самое большее шесть. Ты смотрел, как они в него забираются, как бросаются на задние сиденья, иногда чья-то рука опускалась на *твоей* подголовник, и близость этой руки к твоей голове заставляла ее кружиться, ты готов был съесть воздух вокруг тебя, столь силен был твой голод по всему, чем они были. По всему, что было у них. Наверное, они нарушали правила. Ускользали в Лондон, не надев школьной формы. Прекрасной, нелепой формы — фраки и полосатые брюки, которым они предпочитали свитера и вельветовые штаны. А Флаг веял, привольно плескался над канотье и цилиндрами.

В последний день, день перед Броском На Север, ты подобрал под сиденьем канотье, так? Он поначалу не сообразил, что сел в автобус, оставив канотье на голове. Они принялись дразнить его, и он, хохоча, в шутовском отвращении к себе самому, метнул канотье в сторону водителя. Ты *почти* открыл рот, собираясь сказать ему, когда он проходил мимо, что шляпа закатилась под сиденье прямо перед тобой, но промолчал. Устыдился твоих северно-лондонских гласных. Ты подобрал канотье и сохранил его. Неглубокую соломенную шляпу с синей лентой. А потом надевал ее, не так ли? У себя в спальне. И сейчас надеваешь. Ты надеваешь ее, ведь так, *жалкий, отвратный, никчемный...* И все равно *не помогает*, верно? Волосы твои слишком жестки, чтобы взлетать в воздух, будто тейский лосось или полы костюма с Савил-роу^[11], не волосы, а *щетина*, болотная поросль, мещанский коврик для ног. На самом-то деле ты не *надеваешь* канотье Дж. Х. Г. Этериджа (отметь эти четыре буквы... *класс*), канотье Дж. Х. Г. Этериджа просто иногда оказывается *на твоей головке*. Точно так же, как этот дневник — на столе, а этот стол — на полу. Пол не несет стол, стол не несет дневник. Тут присутствует пропасть, колоссальная пропасть различия. И именно эта пропасть, именно

она составляет причину того... того, что ты так часто сдергиваешь эту соломенную шляпу с головки, ведь так? Ведь так, ты, жалкая кучка ничтожества?

Как же произошла Ужасная Ошибка? Ужасный *ряд* ошибок.

Как могло *твое* сознание возникнуть из *его* заурядного семени и ее унылых яйцеклеток? Первой ужасной ошибкой было появление на свет. Эту путаницу, зашедшую так далеко, можно объяснить, прибегнув к идее о переселении душ. В прежних воплощениях ты был одним из *них*, и теперь остаточные воспоминания об этом терзают тебя. Возможно, ты подкидыш или внебрачный плод опрометчивости какого-нибудь герцога, отданный на воспитание этим жалким людям, которых тебе приходится называть родителями.

Прежде всего имя. Эшли. Эшли. ЭШЛИ. Сколько его ни пиши и сколько ни произноси, ничего не поможет. Оно отдает пивным, сигарным смрадом коммивояжеров в притемненных очках и коротких дубленках. «Эшли» к лицу учителю физкультуры — Эшли говорит: «Твое здоровье, кореш» и «Гля-ка, солнышко вышло». Эшли водит «воксхолл»^[12]. Эшли носит нейлоновые рубашки и штаны из шерсти с полиэфирным волокном, рекламируемые как «брюки для досуга». Эшли обедает в час второго завтрака, а ужинает, когда люди обедают. Эшли говорит «уборная». В Рождество Эшли вешает на окна с двойными рамами китайские фонарики. Жена Эшли читает «Дейли мейл» и украшает телевизор кружавчиками. Эшли мечтает о гудронной подъездной дорожке. Эшли никогда ничего не добивается в жизни. Эшли проклят.

Этим именем наградили тебя мамаша с папашей.

Никогда не говори «папаша и мамаша».

Мама и папа, ударение на последнем слогe. Мама и папа. Хотя, вероятно, это лишнее. Так можно и пудинг перемаслить. (Заметь: *всегда «пудинг» и никогда «десерт» или — упаси господи — «сладкое»...*) Уж лучше «мать» и «отец».

Этим именем наградили тебя мать и отец. И самое криминальное состоит в том, что оно лишь чуть-чуть не дотягивает. Рой, или Ли, или Кевин, или Дин, или Уэйн — вот настоящие имена. «Echt Lumpenproletariat»^[13]. Деннис, Десмонд, Леонард, Норман, Колин, Нэвилл и Эрик омерзительны, но хотя бы честны. А что такое *Эшли*? Имя наподобие Шварда, Линдсея и Лесли. Оно *почти* годится. Оно, похоже, старается сгодиться. И это, разумеется, самое грустное.

Американцы такого рода забот не знают, верно? С именами и с тем, что из них проистекает. В сущности, единственный Эшли, о котором можно сказать, что в нем присутствовал определенный класс, и был американцем. Эшли из «Унесенных ветром». Он был такой классный, что его даже называли Ишли. В фильме Лесли Швард и не пытался снабдить его американским выговором. Лесли и Швард. Два отвратительных имени по цене за одно. Но с другой стороны, Лесли Швард не был англичанином. Он был венгром, и, конечно, ему, только что сошедшему с борта парохода, Лесли и Говард показались высшим шиком.

Слово «шик» долой. Никогда не произноси.

Но ведь *показались*. Показались шиком. Вот в чем загвоздка. То, что людям *кажется* фешенебельным, весьма далеко от того, чем в действительности является Эшли. Ты можешь считать, что серебряные столовые ножи для рыбы — это черт знает какой высший класс, однако никакие ножи для рыбы никакого отношения к настоящему классу не имеют. С таким же успехом можно обернуть их в салфеточки и затем проститься со всякими надеждами на место в приличном обществе.

Однако речь не о *месте* в приличном обществе. Речь о *боли*.

Послушай, некоторые мужчины, взрослея, проникаются ощущением, что попали не в то тело, так? Что внутри них сидит женщина.

Разве не может случиться, что некоторые, взрослея, оказываются патрициями, заточенными в тела плебеев? Знающими, *просто* *знающими*, что они родились не в том слое общества.

Однако речь не о *классе*. Речь о *голоде*.

Да, но, Эшли, бедный простофиля, неужели ты действительно веришь, будто тебя примут в их мир? Или тебе не известно, что попасть в этот мир можно, только родившись в нем?

Как все это *несправедливо*! Человек может, если захочет, стать американцем. Может стать евреем. Может, подобно Лесли Шварду, стать не просто англичанином, но олицетворением Англии. Он может стать лондонцем, мусульманином, женщиной, мужчиной, даже русским. Но он не может стать... стать... чуть не написал «джентльменом». Да, но правильное ли это слово? Аристократом, шишкой, денди из частной школы... *одним из них*. Ты не можешь стать одним из них, даже если в самой глубине своей ощущаешь себя одним из них, даже если знаешь своим сокровеннейшим «я», что таково твое право, твоя судьба, твоя потребность и твой долг. *Даже если знаешь, что ты лучше них*. И это правда. Ты сыграл бы эту роль с гораздо большим изяществом. Сыграл бы с непринужденностью, опровергающей всякую мысль о том, что ты *вообще* играешь что бы то ни было, если это не слишком затейливо сказано. Сыграл бы естественно, без усилий, с само-собой-разумеющимся выражением. Но тебе отказали в такой возможности, и все из-за ужасной ошибки, какой стало твое появление на свет.

Бросок На Север — вот еще один гвоздь в крышке твоего гроба. Еще одна составляющая Ужасной Ошибки. Папаша твой умер, а мамаша получила место учительницы в Манчестере, в школе для глухонемых. Папаша был офицером. Офицером ВВС, как тебе ни горько в этом признаться, не какого-нибудь шикарного армейского полка. Летать он никогда не летал, так что романтикой тут и не пахло. Но хоть офицер, и на том спасибо. Будь честен, в ВВС ему пришлось вступить простым рядовым. Настоящего офицерского класса в нем не было. Ему пришлось попотеть, чтобы пробиться в офицеры, и, господи, как же тебя это злит, верно? Потом он умер — осложнения на почве диабета, довольно буржуазной, чтобы не

сказать пролетарской, болезни, — и ты, мама и твоя сестра Карина перебрались на север. (Карина! Карина, господи ты мой боже! Ну *что* это за имя? Скажи, что дочь герцога Норфолкского зовут Кариной, никто и не поморщится. А вот между фразами «Знакомы ли вы с леди Кариной Фицалан-Говард?» и «Это Карина Гарленд» — дистанция огромного размера.) Ты покинул старый Харроу, лишился близости к ним, к их фракам, цилиндрам, блейзерам и канотье. Тебе было двенадцать. Мало-помалу к тебе начал липнуть северный выговор. Не слишком явственный, так, самая малость, но твой чувствительный, внимательный слух он резал примерно так же, как бросается в глаза волчья пасть. Ты начал произносить «Опе» и «None»^[14] так, словно они рифмуются с «Shone» и «Gone», а не с «Shun» и «Gun»^[15], ты смягчал «д» в «Ringing» и «Singing»^[16]. В школе ты рифмовал даже «Mud» с «Good» и «Grass» с «Lass»⁴. И правильно делал, потому что иначе тебя просто били бы как неженку с юга, но часть этой лингвистической грязи ты притаскивал с собою домой. Впрочем, мамаша ничего не замечала.

А потом настал тот день.

В тот день она пригласила к вам на чай кое-кого из своих глухих учеников. После их ухода ты сказал: боже милостивый, они даже *жестикулируют* с манчестерским акцентом. Это ты пошутить хотел. Мама взвилась и обозвала тебя снобом. Она впервые открыто произнесла это слово. Оно повисло в воздухе, и ощущение от него было примерно такое же, как если бы кто-то пукнул в тихом кафе. Я притворился, будто не услышал его, но оба мы понимали — чему-то пришел конец, потому что оба поперхнулись и покраснели. Я принялся возиться со шнурками моих ботинок, а ее внимание целиком поглотила крышка чайника.

Вот тогда я и начал писать все это и... ага, я перешел к рассказу от первого лица. Я написал «я».

Ладно, неважно, все это вскоре станет прошлым. Внимание, я вот-вот присоединюсь к ним. И они ничем не смогут мне помешать.

Я умнее их, храбрее и лучше. Я готов к любому экзамену, им не удастся мне отказать.

Но я должен быть готовым к тому, чтобы еще учиться и учиться. Образование, вот что идет в счет. Знание жизни, если вы простите мне эту расхожую фразу. Я добавлю к своей фамилии девичью фамилию матери. Почему бы и нет? *Они* делали это столетиями. Я буду Барсон-Гарленд. По-моему, звучит неплохо. Черт возьми, я бы заделался и трехстволкой. Барсон-Барсон-Гарленд, как вам такое? *Небольшой* перебор, по-моему. Но Барсон-Гарленд — неплохо. Смягчает Эшли, делает это имя почти сносным.

Но прежде всего — выговор. Когда я поступлю, выговор у меня уже будет, так что они ни о чем не догадаются.

Я уже выписал себе — для упражнения:

Не говори «good», говори «gid»^[17].

Не говори «post», говори «paste»^[18].

Не говори «real», говори «rail»^[19].

Не говори «до», говори «дау»^[20].

Не говори...

Стукнула наружная дверь кабинета биологии, и Нед, подняв глаза, увидел за стеклом внутренней двери голову Эшли. Нед захлопнул дневник, торопливо затолкал его обратно в сумку и, плотно прижав кулаки к щекам, тут же сгорбился над учебником по биологии клеток, так что густые волосы его свесились на лицо, точно плотный шелковый занавес.

В этой позе напряженного внимания он и пребывал, когда рядом с ним уселся Барсон-Гарленд. Нед оторвал глаза от учебника и улыбнулся. Он надеялся, что прижатые к лицу кулаки объяснят, отчего он так покраснелся.

— Ну, что там? — прошептал он.

— Ничего особенного, — ответил Барсон-Гарленд. — Директор хочет, чтобы я произнес речь в Актовый день.

— Черт возьми, Эш! Это же здорово.

— Да ну, ерунда... ерунда.

«Ерунда» прозвучала у Барсон-Гарленда как «еранда»; он сразу поправился, а Нед постарался сделать вид, будто ничего не заметил. Полчаса назад он и не заметил бы. Во внезапном приливе теплых, дружеских чувств он опустил руку на плечо Эшли.

— Я чертовски горд за тебя, Эш. Всегда знал, что ты гений.

Послышался высокий, брюзгливый голос доктора Сьюэлла:

— Если вы уже усвоили всю информацию, Маддстоун, и вам нечем заняться, кроме болтовни, вы, несомненно, сможете выйти к доске и отметить на этом рисунке хлоропласт.

— Так точно, сэр. — Нед вздохнул и, направляясь к доске, обернулся, чтобы послать Барсон-Гарленду сокрушенную улыбку.

Барсон-Гарленд не улыбался. Он смотрел на высушенный, плоский стебель четырехлистного клевера, лежащий на табурете Неда Маддстоуна. Тот самый стебель, что провел три мирных года между страницами его дневника.

Кто-то с силой ударил в дверь комнаты Руфуса Кейда. После двадцати секунд паники и сквернословия Кейд плюхнулся в кресло, в бешеной спешке окинул взглядом комнату — все чисто — и тоном, в котором, как он надеялся, спокойствие мешалось со скукой, крикнул:

— Войдите!

В дверном проеме показалось сардоническое лицо Эшли Барсон-Гарленда.

— А, это ты.

— И никто иной.

Эшли уселся, с удовлетворенным презрением наблюдая за тем, как Кейд, наполовину вывалившись из окна, выплевывает мятные леденцы, — ни дать ни взять пассажир, блюющий через бортовые поручни парома.

— Чарующий аромат лаванды, казалось, наполнил комнату, — сообщил Эшли. В благожелательном удивлении приподняв брови, он взял со стола баллончик аэрозольного освежителя воздуха и осмотрел его.

Кейд, так и не разогнувшийся, шарил в цветочной клумбе под окном.

— Мог бы и сказать, что это ты.

— И лишить себя наслаждения присутствовать при этой пантомиме?

— Очень смешно... — Кейд выпрямился, держа в пальцах помятый, умело свернутый косячок и стряхивая с него кусочки сухих листьев.

Эшли не без удовольствия наблюдал за ним.

— Какая деликатность движений. Так археолог обметает землю с только что откопанной этрусской вазы.

— У меня еще и бутылка «Гордонса» есть, — сказал Кейд. — Маддстоун вернул пятерку, которую задолжал мне, представляешь?

— Вполне. Я случайно видел, как гордый папочка вручил ему десятку как раз перед сегодняшним матчем.

Кейд извлек из кармана «зиппо».

— В награду за то, что на следующий триместр его назначили главной свиньей?

— Насколько мне представляется, именно так. А также за то, что он капитан крикетной команды и побил школьный рекорд удачных подач. За то, что он обаятелен, мил, любезен и добр. За то...

— А ты ведь не любишь его, верно? — Кейд набрал полные легкие дыма и протянул косячок Эшли.

— Благодарю. По моему убеждению, ты тоже его не любишь, Руфус.

— Ну да. Ты прав. Не люблю.

— Это, случаем, не связано с тем обстоятельством, что он не включил тебя в первый состав крикетной команды?

— Да и хрен с ним, — ответил Кейд. — Плевать. Просто он... мудака он, вот и все. Воображает себя Господом всемогущим. Высокомерный наглец.

— Тут с тобой согласятся очень немногие. Насколько я понимаю, общественное мнение школы сводится к тому, что наш Неддик неизменно и подкупающе скромен.

— Ага. Ладно. Меня ему не надуть. Он ведет себя так, будто у него все уже в кармане.

— Как оно на самом деле и есть.

— Кроме денег, — с наслаждением уточнил Кейд. — Папаша его гол как сокол.

— Да, — негромко подтвердил Эшли. — Как сокол.

— Я не к тому, что в этом есть что-то дурное, — с вульгарной поспешностью добавил Кейд. — Я хочу сказать... сказать, что деньги не... ну, ты понял...

— Еще не все? Я часто над этим задумываюсь. — Эшли выговаривал слова холодно и четко, как и всякий раз, когда бывал зол, а это случалось с ним часто. Гнев питал его, гнев служил ему одеждой, он был многим обязан гневу. Бестактность Кейда больно уколола его, но злость лишь заставляла думать яснее. — Не сформулировать ли нам это следующим образом: деньги для всего прочего то же, что самолет для Австралии. Самолет не есть Австралия, но он остается единственным известным нам практическим средством ее достижения. Так что, возможно, говоря метонимически, самолет — это, в конечном итоге, Австралия и есть.

— Так что, джину?

— Почему бы и нет.

От досады к удовольствию, и на большой скорости. Эшли находил затруднительным долго сердиться на существ, стоящих на эволюционной лестнице так низко, как Кейд.

— Ну и речь ты закатил... потрясно, — сказал Кейд, вручая Эшли бутылку и стеклянный стакан. Эшли отметил, что бутылка

наполовину пуста, между тем как Кейд выглядит наполовину набравшимся.

— Тебе понравилось?

— Ну, ты же ее на латыни произносил, так? Хотя, да. Звучало здорово.

— Теперь впору и расслабиться.

— Может, музыку какую-нибудь включить?

— Какую-нибудь музыку? — Эшли с привередливым и вполне осознанным отвращением оглядел гордость Кейда — полку, плотно забитую записями. — Что-то я никакой музыки тут не наблюдаю. Что такое, к примеру, «Нопку Chateau»? Замок, полный гусей? Кларет, от которого рвать тянет?

— Это Элтон Джон. Прошлогодний диск. Ты наверняка ее слышал. *А, черт!*

Негромкий стук в дверь заставил Кейда замереть. Но прежде чем он успел в очередной раз приступить к привычной процедуре сокрытия улики, в двери обозначился Нед Маддстоун.

— О господи, простите. Совсем не хотел... Эй, ради бога, не беспокойся. Я не... я хочу сказать, какого черта, триместр почти закончился. Отчего же не повеселиться? Я просто...

— Да ладно, присоединяйся, Нед, мы тут, ну, сам понимаешь, маленько празднуем, — вставая, сказал Кейд.

— Блеск! Ты очень добр, только я... видишь ли, я сейчас отправляюсь обедать с отцом. Он остановился в «Георге». Я подумал, БГ, что, может, найду тебя здесь и ты захочешь присоединиться к нам? Э-э... то есть *вы оба*. Конечно. Знаете, последний вечер триместра и все такое.

Эшли улыбнулся про себя, отметив, как неловко Нед включил в их общество Руфуса.

— Мне очень приятно, — уже отвечал Руфус, — но, сам понимаешь. Я, если честно, слегка набрался. Не думаю, что от меня будет много проку. Скорее всего, я вам только помешаю.

Нед в тревоге повернулся к Эшли:

— А ты, Эш, у тебя ничего не намечено?

— Буду польщен, Нед. Правда, польщен. Ты позволишь, я поднимусь к себе и переоденусь во что-нибудь более приличествующее вечеру, — он скорбно ткнул пальцем в облачение, так и оставшееся на нем после произнесения речи. — Ты иди. Встретимся в «Георге», если ты не против.

— Отлично. Отлично. Просто отлично, — с радостной улыбкой сказал Нед. — Ладно, решено. Что ж, Руфус, тогда до августа?

— Не понял?

— Ты же пойдешь с Падди в плавание?

— А. Да, — ответил Кейд. — Конечно. Абсолютно.

— Значит, увидимся в Обане. Жду не дождусь. Ладно. Тогда пока. Хорошо.

После того как Нед, пятясь, покинул комнату Кейда, в ней повисло молчание. Как будто солнце за тучу зашло, с изрядной горечью подумал Эшли.

И он, Эшли Барсон-Гарленд, вынужден сносить *покровительство* этого безмозглого, лохматого, смазливового, отмытого до скрипа, невинноглазого, безупречно-безупречного, смахивающего на наливное яблочко куска...

Разумеется, он понял все — Эшли совершенно ясно понял все по глазам Неда. Жалобную мольбу о прощении. Дружеское сочувствие. Нед слишком туп, чтобы понять то, что ему стало известно. Если бы кто-то другой из учеников школы залез в дневник, он уже разнес бы прочитанное по всей школе, Эшли уже задрозжали бы, набросились на него всей сворой. Он не пользовался особой любовью и хорошо это знал. Не был *одним из них*. Глаз он не резал, но одним из них не был. Он *слишком* не резал глаз. Эти кретины, сыновья чистокровных кобыл и племенных жеребцов из высшего общества, они были хамоваты, непривлекательны и совершенно не заслуживали дарованных им привилегий. Его, Эшли Барсон-Гарленда, они к себе не подпускали, потому что он был недостаточно туп. Сколько в этом